

КОНСТАНТИН ИЛЬИН

ЭХО ЗАБЫТЫХ БОГОВ

РОМАН



ПО МОТИВАМ АЛЬБОМА
ГРУППЫ ИЛЬИНК

Константин Ильин

Эхо забытых богов

<https://litres.ru/74500213>

SelfPub; 2026

Аннотация

Русь, IX век. Земледелец Константин, сын Радима, уводит в лес тех, кто успел спастись. Шестьдесят четыре человека, восемь топоров и еды на двое суток. Через месяц придёт зима. Всю жизнь он знал, как прокормить семью. Теперь от него зависит, останутся ли в живых хоть кто-нибудь из его деревни.

Он знает землю, умеет считать зерно и держать слово. Этого оказывается достаточно, чтобы вокруг него начали собираться люди. И чтобы князь увидел в простом пахаре угрозу своей власти.

Человек, пришедший уничтожить твою веру, может оказаться единственным, кто готов тебя выслушать. А каждый новый союз приносит обязательства перед теми, кого ты уже не вправе бросить.

Как далеко можно зайти, защищая свой мир, прежде чем война отнимет всё, ради чего ты взялся за оружие?

Эхо забытых богов мрачная сага о гибели старой Руси, о семье и памяти, пережившей тех, кто пытался её уничтожить. Роман по мотивам одноимённого концептуального альбома группы ИльинК.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
Пролог	4
Глава первая	16
Интерлюдия первая	42
Глава вторая	52
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Константин Ильин

Эхо забытых богов

*Пусть стёрты руны, пусть капища в пыли,
Мы сохранили гром в своей крови!*

«Эхо забытых богов»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕПЕЛ

Пролог

ШЁПОТ СЕДОЙ ПУЩИ

*Тихий, злоеющий шёпот старого леса
прерывается грубым металлическим взрывом.
Это предчувствие надвигающейся бури.*

«Шёпот седой пущи»



Лето 6371-е от сотворения мира. Верховья Полисти

Пуща была старше памяти.

Она стояла здесь, когда у людей ещё не было слов для того, чтобы её назвать, и когда слова наконец появились, лес принял их равнодушно, как принимает дождь или снег. Люди приходили к её опушке, кланялись, рубили по краю, брали ровно столько, сколько разрешала совесть, и уходили обратно к реке. Дальше третьей версты никто не ходил без нужды. Дальше третьей версты пуща переставала быть лесом и становилась чем-то другим, для чего у славян тоже было слово, но его старались не произносить вслух.

Константин, сын Радима, стоял на краю поля и слушал.

Он делал это каждую осень, в один и тот же день, когда зябь была поднята и последний воз с житом уходил в клеть. Он вставал спиной к деревне, лицом к тёмной стене ельника, и слушал — не ушами, а чем-то в груди, под рёбрами, где у человека сидит то, что не умеет врать.

Пуща всегда отвечала. Скрипом, шорохом, дальним стуком дятла, вздохом верхушек. Это был шёпот, и шёпот означал: всё идёт своим чередом. Земля дышит, корни пьют, зверь жирует к зиме, боги на своих местах.

Сегодня пуща молчала.

Не было ни птицы, ни ветра, ни того ровного гула, кото-

рый стоит в старом лесу даже в безветрие, — будто кто-то положил на седую пущу ладонь и придавил.

Константин простоял так долго, что заныли ноги. Потом сплюнул в стерню, поднял с межи лемех — тяжёлый, вытертый до синевы, тёплый ещё от работы, — и пошёл к дому.

Ему было тридцать два года. Плечи у него были кузнечные, руки — землепашеские, всё в трещинах и мозолях, чёрных от въевшейся земли, и ни один человек в верховьях Полисти не сказал бы про него слова «воин». Про него говорили другое. Говорили: у Константина рожь родится там, где у прочих один пырей. Говорили: у Константина хлеб не переводится и в чёрный год. Говорили: если Константин сказал — можно не переспрашивать.

Он и сам считал, что этого довольно для одной жизни.

* * *

Деревня звалась Белые Ключи — по семи родникам, что били из-под мелового яра над рекой. Вода в них была такая, что зубы ломило, и такая чистая, что в ковше не видно было дна: казалось, ковш пустой.

Двадцать два двора. Тын из заострённого горбыля — не крепость, а от волка. Общинный овин, три клетки, кузня Горазда на отшибе, у воды, чтобы искры не побежали на солому. Над всем этим, в полутора верстах, на лысой макушке

холма — Дубова Гора, капище. Четыре резных лика в круге, и посередине Перун, старый, чёрный, с серебряной прошвой на усах, поставленный ещё прадедом Константина.

Он вошёл во двор, и на него сразу набежало.

— Батя! Батя, скажи ему!

Элина висела у него на левой руке, как всегда, — вцепившись обеими ладошками в запястье и поджав ноги, чтобы качаться. Девять лет, а весу как в кошке. Волосы у неё были светлые до белизны, отцовские, и никогда не желали лежать в косе.

— Что сказать?

— Лёва говорит, я не умею считать до сорока девяти! А я умею! Аз, веди, глаголи, добро...

— Ты не считаешь, ты азбуку бормочешь, — отозвался Лёва от поленницы, не оборачиваясь. Он колол дрова, и колол правильно: коротко, без замаха от плеча, как учили. Четырнадцать лет, а руки уже мужичьи. — Это разные вещи.

— Одно и то же!

— У волхва — одно и то же, — сказал Константин. — У людей — разные. Ставр говорит, что в старой речи каждый знак есть и число, и слово, и ключ. Сорок девять ключей — сорок девять ворот.

— А что за воротами? — тут же спросила Элина.

Константин помолчал.

— Никто не знает. Кто прошёл — обратно не рассказывал. Он снял её с руки и поставил на землю, как ставят кувшин,

— бережно, чтобы не расплескать.

У порога стояла Юлия и смотрела на них. Она вытирала руки о передник — жест, который у неё означал сразу и «здравствуй», и «ужин готов», и «я всё вижу». Двадцать девять лет, тонкая в кости, с тёмными, не по-здешнему тёмными глазами: её мать была гречанка, привезённая с Понта, и Юлия унаследовала от неё эти глаза, это имя и умение молчать так, что молчание было громче крика.

— Ты слушал пуцу, — сказала она. Не спросила.

— Слушал.

— И?

Константин прислонил лемех к стене — там, где он стоял всегда, между дверью и лавкой, чтобы каждое утро видеть его первым.

— Молчит, — сказал он.

Юлия ничего не ответила. Только повернулась и посмотрела на север, поверх тына, поверх сжатых полос, туда, где над чёрной кромкой ельника небо было мутноватым, как разбавленное молоко.

* * *

Валерий вернулся затемно.

Ему было шестнадцать, он был выше отца на полголовы и уже год как ходил в лес один, и Константин отпускал его,

потому что человека, который боится леса, лес не любит. Валерий вошёл в избу, не сняв налипшей на сапоги хвои, что делал всегда и за что всегда получал от матери, — и в этот раз Юлия не сказала ни слова, потому что увидела его лицо.

— Там человек, — сказал Валерий. — У третьего ключа. Живой пока.

Его принесли на плаще. Он был не старый, лет сорока, и одет был как ходят по реке — в кожаную свиту с бронзовой застёжкой, — но свита обгорела на левом плече и спине, и то, что было под ней, лучше было не разглядывать при свете. Юлия разглядывала. У неё были для этого руки и было для этого сердце: она положила его на стол, срезала ножом присохшую кожу и молчала так, что все вокруг тоже молчали.

Он пришёл в себя к полуночи и первым делом попросил не воды, а огня — чтобы видеть, что не в Нави.

— Веретье, — сказал он. — Я с Веретья.

Веретье стояло ниже по реке, в четырёх днях пути. Там был торг, там была пристань, там было большое капище — не такое, как Дубова Гора, а настоящее, с оградой, с идолами в рост двух человек, куда приходили с трёх волостей.

— Что с Веретьем? — спросил Константин.

Обожжённый посмотрел на него и засмеялся. Это был плохой смех: сухой, с треском, как когда ломают тонкий лёд.

— Веретья нет, — сказал он. — Капища нет. Волхвов нет. Есть княжьи люди, есть грек в чёрном, и есть новый бог, у которого имя такое, что не выговоришь с первого раза. Кто

выговорил — того окунули в реку и отпустили. Кто не выговорил...

Он не закончил. Он показал глазами на своё плечо.

В избе было двадцать человек, и никто не шевелился.

— Врёшь, — сказал кто-то от двери. Это был Гостята, старейшина Белых Ключей, семидесяти двух лет, с бородой до пояса. — Князь Ратмир брал с нас дань четырнадцать зим. Дань — это одно. Боги — это другое. В боги князя не лезут.

— Раньше не лезли, — сказал обожжённый.

Он рассказал и другое, и другое слушали внимательнее, чем про богов, потому что оно было понятнее.

— Дань подняли, — сказал он. — С сорока на шестьдесят.

— Врёшь, — сказал Гостята второй раз за вечер.

— Мне-то что, — сказал обожжённый. — У меня теперь ни дыма, ни дани.

Об этом спорили до полуночи и переспорили на том, что врёт.

Гостята сказал, что беглый человек всегда прибавляет, и что он сам, когда в молодости горел, рассказывал такое, чего и не было. Сказал, что шестьдесят с дыма — это не дань, а разорение, и что князь не дурак резать корову ради одного удоя.

С ним согласились все, и согласились с облегчением, потому что хотелось согласиться.

Константин не спорил.

Он вышел на двор, сел на лавку у двери и до света считал,

потому что не умел иначе: услышал число — проверь, что из него выходит.

* * *

Ставра привели под утро.

Волхв жил не в деревне, а на выселках, в землянке под тремя соснами, и приходил к людям сам, когда считал нужным, а когда не считал — не приходил, хоть удавись. Ему было столько лет, что никто не помнил точно; левого глаза у него не было с молодости, и вместо него он носил не повязку, а просто закрывал веко, и на этом веке, синей краской, была наколота маленькая птица.

Он выслушал всё, не перебивая. Потом вышел во двор, и все вышли за ним.

Светало. Над Полистью висел туман — плотный, белый, ровный, как выстиранное полотно. И в этом тумане, далеко на севере, куда уходила река, стоял столб.

Не дым от овина. Не дым от подсеки. Дым идёт вкось, дым рвётся ветром. Этот столб стоял прямо, широкий у земли и расплывающийся вверху, — так горит только большое сухое дерево, которому дали гореть целиком.

— Дубрава на Ольшанах, — тихо сказал Горазд-кузнец.

Ставр смотрел на север единственным глазом и молчал так долго, что Гостиата не выдержал:

— Ну? Скажи что-нибудь, старый. Ты для того и поставлен.

Волхв повернулся. И то, что было у него на лице, Константин увидел впервые.

Ставр не был испуган. Ставр был удивлён.

— Я слушал пуцу шестьдесят лет, — сказал он. — Она всегда отвечала. И когда мор был, и когда голод, и когда половодье снесло Кривой Брод вместе с людьми. Она отвечала. — Он перевёл единственный глаз на Константина, будто знал, что тот делал вчера на краю поля. — А сегодня в ней никого нет.

— Как — никого?

— Так. — Ставр поднял руку и показал на север, на столб дыма. — Они ушли туда. Смотреть.

Он опустил руку.

— Боги пришли посмотреть, как их будут убивать. Это, дети мои, случается один раз.

* * *

К полудню туман сошёл, и стало видно, что за первым столбом дыма поднимается второй, дальше и левее.

Константин весь этот день делал обычное. Проверил, хорошо ли завязаны снопы соломы на кровле. Спустился в яму, где лежало зерно, и перешупал верхний слой — не отсырел

ли. Сходил в кузню и отдал Горазду лемех, потому что край сбился о камень, и надо было наварить.

Горазд взял лемех, взвесил на ладони и посмотрел на него как-то странно.

— Хорошее железо, — сказал он. — Твой дед из Царьграда вёз?

— Прадед.

— Хорошее железо, — повторил кузнец. — Из такого не только пахать.

— Наваришь — и будем пахать, — сказал Константин.

Он вернулся домой затемно. Юлия сидела у окошка, затянутого бычьим пузырьём, и прятла. Веретено ходило ровно, с тем же скрипом, что и всегда, и от этого звука в избе становилось спокойнее, чем от любых слов.

— Валерий спрашивал, будем ли уходить, — сказала она, не поднимая головы.

— Куда?

— За пущу. Там, говорят, есть места.

Константин сел на лавку и долго смотрел на свои руки. На ладонях у него была вся его жизнь: борозда от рукояти сохи, шрам от серпа, чернота, которая не отмывалась даже щёлоком.

— Я тут родился, — сказал он наконец. — Тут отец лежит, тут мать лежит. Тут я знаю каждую полосу: где сеять раньше, где позже, где мокро, где камень на две пяди. Я в другом месте не человек, Юлия. Я в другом месте — приблу-

да с пустыми руками.

Веретено остановилось.

— Я знаю, — сказала она. — Я не для того спросила, чтобы ты собирался. Я для того спросила, чтобы ты сказал вслух.

Ночью Константин вышел на крыльцо.

Небо было чистое, ледяное, всё в мелком колючем звёздном крошewe. Пахло палёным — слабо, почти неразличимо, но пахло.

Он стоял и слушал.

И пуща отозвалась.

Один-единственный звук — далёкий, короткий, чужой. Он не принадлежал ни лесу, ни реке, ни зверю. В нём было железо.

Так звенит железо о железо, когда один человек проверяет, крепко ли сидит его меч, а другой стоит рядом и ждёт своей очереди.

Константин постоял ещё немного. Потом вернулся в избу, снял со стены дедовский топор — плотницкий, на длинном топорище, — и положил его не в угол, где ему было место, а под лавку у самой двери.

Это было первое, что он сделал не так, как делал всю жизнь.

Глава первая

ИДОЛЫ В ОГНЕ

*Идолы в огне! Искры рвутся в небо.
Плавится в горниле гордая душа.
Там, где предки клялись колосом и хлебом,
Медленно ползёт кровавая межа.*

«Идолы в огне»



Девять дней Белые Ключи жили так, будто ничего не было.

Со стороны это выглядит глупо: на севере два столба дыма, с реки приходят обожжённые люди, волхв говорит, что боги ушли смотреть, — а деревня молотит, возит солому и чинит прясло.

Так и надо было делать. Осенью нельзя иначе. Не свезёшь солому в третью седмицу листопада — она вымокнет, а вымокшей не покроешь кровлю и не подстелешь скотине, и к марту скотина ляжет. Между «страшно» и «корова сдохнет» деревня выбирает корову, и выбирает правильно, потому что страшно бывает часто, а корова одна.

Константин подгонял всех сам.

А по вечерам садился на лавку у двери, доставал уголёк и бересту и раскладывал на ней то, что сказал обожжённый.

* * *

Дани с Белых Ключей брали сорок куниц с дыма да шесть кадей мёду с волости. Дым — это двор, дворов двадцать два, стало быть, восемьсот восемьдесят куниц в год.

Всякий мужик в верховьях умел разложить это число.

Хороший ловец за зиму берёт куниц тридцать, от силы сорок, и берёт не походя, а ставя двести-триста слопцов и обходя их с ноября по март через день. Сорок с дыма — это вся зимняя работа взрослого мужика от снега до снега.

Дань съедала зиму. Зато оставляла лето: пахали, сеяли, косили, били борти, и с этого жили и меняли на соль, железо и жернова.

Так стояло четырнадцать лет, и все привыкли.

Если обожжённый не врал, становилось шестьдесят.

Константин раскладывал, исходя из того, что не врал. Он всегда считал по худшему: дешевле приготовиться напрасно, чем не приготовиться вовремя.

* * *

Шестьдесят с дыма — это тысяча триста двадцать на деревню, и тут счёт ломался.

Одному мужику шестьдесят за зиму не взять: не хватит ни слопцов, ни ног, ни зверя. Значит, ставить на промысел двоих с каждого двора, отца и подростка. А подросток зимой возит дрова, чинит упряжь и ходит за скотиной, и если он в лесу, то это делает баба, а баба прядёт, а если она не прядёт, то к весне не из чего шить.

Либо докупать недостающее. А докупают куниц за жито.

В хороший год деревня снимает с двухсот десятин тысячи четыре пудов. Восемьсот из них семенное, трогать нельзя. Две тысячи двести на прокорм двумстам десяти душам. Остаётся с тысячу, и эта тысяча — всё: кузня, соль, железо, свадьбы, новый сруб взамен сгнившего и запас на чёрный

год.

Чтобы добрать четыреста сорок куниц, надо отдать почти весь остаток.

Выходило, что деревня будет жить от урожая до урожая без запаса, и первый же недород её положит.

Была тут ещё одна странность, и она мешала Константину больше самого числа.

Князь Ратмир брал дань четырнадцать лет и брал разумно. Не по доброте — по хозяйству: хозяин не режет корову ради одного удоя. Поднять на половину значит разорить, а разорённая волость на будущий год не даст и сорока.

Стало быть, князю на будущий год всё равно.

Стало быть, князь считает, что будущий год будет другой.

Он пошёл с этим к Ставр на восьмой день, к вечеру, и застал его у кузни, где волхв грелся.

— Ставр, я одного не пойму.

— Ну?

Константин сказал про шестьдесят и про то, что так не делают.

Волхв слушал, глядя в горн, и по лицу его нельзя было понять, слушает он или спит.

— Умный ты, — сказал он наконец. — Только заходишь не с того боку.

— А с какого надо?

— Ты куниц считаешь. — Ставр поворошил угли клюкой.

— А считать надо, кто скажет «нельзя».

— Не понял.

— Куда тебе. — Волхв кашлянул. — Слушай сюда, я один раз скажу. Князь приехал и берёт вдвое. Кто ему помешает? Ты?

— Нет.

— Гостята? Он старший в своей веси и никто за тыном. Другой князь? У того своё. — Ставр загибал пальцы и сам себе отвечал, как делают старики. — Никто. А один человек всё-таки может выйти и сказать: нельзя.

— Ты.

— Я, — согласился волхв без всякого удовольствия. — Старик с одним глазом. Меня зарубить — половина вздоха.

— Так почему тогда?

— А потому, что я не своё говорю.

Ставр повернулся, и единственный глаз его уставился Константину в переносицу.

— За мной семь родов. Все семь клялись на одном капище, и деды их клали там одинаковый обычай: столько даём, столько себе. Это не закон. Закон князь пишет, а обычай он не пишет и отменить не может.

— И он отступает?

— Отступал. При отце его отступал дважды, я помню. — Волхв поскрёб шею. — Не от страха. От того, что если он пойдёт против обычая, семь родов перестанут считать его своим и позовут другого. И такое бывало.

Константин стоял и медленно понимал.

— Ставр. А если капища не будет?

— Ну наконец-то.

— Обычай-то не в дереве.

— В дереве, — сказал волхв. — Дурень. Обычай не в голове, он в месте. Он держится на том, что есть куда прийти всем семи родам и сказать вслух одно и то же. Убери место — через двадцать лет спрашивать станет некому. И тогда дань будет не сорок и не шестьдесят, а сколько скажут.

Он бросил клюку и поднялся, кряхтя.

— А новый бог что? — спросил Константин.

— А новый бог, может, и хорош, я его не знаю и врать не стану. — Ставр отряхнул полы. — Только поп его сидит в Плескове и ест с княжьего стола, а над попом епископ, а над епископом царь в Царьграде. Он князю «нельзя» не скажет.

— Так значит, не богов меняют...

— Всё, — сказал волхв. — Дальше сам. Я старый, мне холодно.

И пошёл.

Пришли на девятый день, в полдень, и пришли не воровски, а с трубой.

Проще было ударить на рассвете: сжечь тын, вырезать всех и уйти. Так делали свои, так делали чужь, так делали свои же, когда голод. Воевода Хват встал в двух перестрелах, велел трубить и ждал, пока к нему выйдут.

Потому что он приехал не грабить. Он приехал устанавливать порядок, а порядок — это когда сначала объявляют.

Их было под три сотни: восемьдесят конных, остальные пешие, с обозом, с двумя знамёнами, с попами. Над передним знаменем висело что-то новое, чего в верховьях Полисти не видели, — крест, обтянутый червлёной тканью, с двумя косыми перекладинами, обитыми серебром, и от него било закатное солнце.

Вышли пятеро: Гостиата, Ставр, Горазд, Константин и Некрас, которого взяли, чтобы было кому кричать.

Пока шли через стерню, Константин решил, что будет делать.

Он решил платить.

Триста человек в железе, восемьдесят коней. Своих тридцать один мужик с восемью топорами. Драться нельзя. Уходить нельзя: зима через месяц, а в лесу зимой без припаса живут седмицу.

Значит, торговаться и отдать всё, что попросят, потому что отданное можно нажать обратно, а людей нажать нельзя.

С этим он и вышел.

Хват сидел на кауrom коне и ел яблоко, срезая кожуру ножом одной спиралью. Кожа свисала у него из руки и покачивалась.

Рядом, на смирной лошадке, сидел человек в чёрном.

— Белые Ключи?

— Белые Ключи, — сказал Гостята.

— Дани сколько.

— Сорок куниц с дыма, батюшка, да мёду шесть кадей на волость. Так при моём деде клали, и при отце, и я четырнадцатый год кладу и ни разу...

— Теперь шестьдесят.

Гостята не удивился. Он девять дней уверял всех, что это враньё, и девять дней сам себе не верил.

— Это за что же? — сказал он. — Мы не бунтовали. Мы на Мсту в позапрошлом годе людей давали, когда князю надо было. Мы, батюшка, смирная весь, у нас и виры-то ни разу...

— Не за что. Просто теперь шестьдесят. — Хват доел, отбросил огрызок, вытер нож о голенище. — И не в дани дело.

«Не в дани», — повторил про себя Константин, и внутри у него всё опустилось.

Была бы дань — был бы торг. Дань меряется и делится, с дани всегда можно скинуть, и обе стороны это знают и оттого договариваются.

«Не в дани» значило, что сейчас назовут цену, которую нельзя заплатить.

* * *

Хват кивнул человеку в чёрном. Тот тронул лошадь и выехал вперёд.

Ему было под шестьдесят, он был сед, худ и очень прям, и лицо у него было не злое. Это оказалось хуже всего. Константин ждал морду, а увидел лицо человека, который сорок лет делает трудную работу и знает про неё всё.

— Меня зовут Никифор, — сказал он.

Говорил он по-славянски чисто, но с той греческой мягкостью, от которой слова будто окунались в масло.

— Князь Ратмир, господин ваш, принял крещение в Плескове на Пасху и наречён Феодором, а поелику земля, с которой вы кормитесь, есть земля его, то отныне она христианская, и сие надлежит вам знать. — Он переждал. — Жить вам никто не запрещает. Пахать не запрещает. Языка своего держаться и песни свои петь — тоже. Запрещено одно.

Он поднял руку и показал за спины стоящих, на холм, где над деревней темнели четыре силуэта в круге.

— Вот это.

Молчание стало такое, что в обозе было слышно, как кто-то стучит топором по клину.

— Это дед мой ставил, — сказал Гостята. — Батюшка, это дед мой ставил, своими руками, я мальцом подавал ему тёсла...

— Знаю, что дед. И знаю, что тяжело, и врать тебе, старик, не стану, будто это легко. Я тридцать лет делаю это в разных землях и ни разу не видел, чтоб было легко. — Никифор помолчал. — Но это будет.

— А ежели нет?

— Тогда сие сделает воевода Хват, и пострадают уже не одни идолы.

Ставр шагнул вперёд. Он не кричал — он вообще не умел кричать, и оттого его слушали.

— Грек. Бог твой всесилен?

— Всесилен.

— Милостив?

— Бесконечно.

— Тогда на что тебе три сотни копий? — Волхв повёл единственным глазом на войско. — Всесилен — так и без тебя мои дубы сожжёт. Милостив — на что ему пепел? Ты мне на это ответь, а про землю и про Пасху не надо, я не за тем спрашиваю.

Никифор ответил не сразу.

— Потому что слаб я, — сказал он. — Не Он. Я. Иначе не умею, и сие мне зачтётся там, куда пойду. А здесь и ныне у меня приказ, и я его исполню.

— Складно, — сказал Ставр. — Ты ври дальше, у тебя

хорошо выходит.

Константин слушал и злился.

Не на грека и не на Ставра. На то, что они говорят о божественном, а решается про зиму.

Потому что со своего места он видел вот что. Триста человек стоят на его стерне вторые сутки и едят. Обоз у них неполный, до Плескова одиннадцать дней. Еду они возьмут тут, хоть по договору, хоть без.

А в общинной яме полторы тысячи пудов, и это всё, что есть у двухсот десяти человек до нового хлеба.

Об этом и надо было говорить.

— Сколько? — спросил он.

Все повернулись.

— Чего сколько? — не понял Хват.

— Сколько взять, чтоб вы уехали.

Константин говорил ровно, как торговался на пристани в Веретье.

— Дань шестьдесят — берите шестьдесят. Мало — берите сто. Мёд весь берите. Жито из общинной ямы берите, в этот год родило. Кузню берите, если надо. Вам ведь тоже триста ртов кормить до зимы. Назовите цену, я её положу.

Он говорил и слышал, что предлагает страшное.

Отдать жито значило голод. Не смерть — голод: с февраля по хлеб на репе, на коре и на том, что выменяют. Половина скотины под нож, дети с опухшими ногами, двое или трое стариков не доживут до апреля.

Он это знал, когда говорил. Второй столбец у него был короче: если сегодня начнётся драка, к вечеру ляжет тридцать один мужик, а к утру сгорят двадцать два двора.

Он выбирал между голодом и смертью и выбрал голод.

Хват засмеялся — коротко, почти одобрительно.

— Хозяин.

— Хозяин.

— Хороший. — Он перегнулся с седла. — Только цена не в куницах, мужик.

— А в чём?

— В том, чтоб через двадцать лет твой внук не помнил, как звали эту деревяшку на горе.

Он выпрямился.

— Мне твоё всё не нужно. Мне нужно твоё «нельзя». Валишь нынче, до темноты. Смотреть выходят все, бабы и дети тоже. Кто не вышел — приведут.

Он тронул коня и поехал, и разговор на этом кончился, потому что второй раз он ничего не повторял.

Круг собрали, как только князьи отъехали к своему стану. Сошлись в овине, потому что в избу двадцать три главы семей не влезали, и говорили вполголоса, хотя подслушивать было некому.

Начал Некрас.

— Ночью! Да что тут думать, ночью же! Они станут лагерьем, они с дороги, они пожрут и лягут, у них дозор по четверо, я считал, по четверо! Мы с трёх сторон подойдём, за-

жжём обоз, и пока они будут метаться...

— И дальше что? — сказал Константин.

— Что дальше? Резать!

— Ты зажёг обоз. Дальше.

Некрас открыл рот и закрыл.

— Я тебе скажу дальше. Нас триста человек будут ловить по полям до полудня. Потом деревню сожгут: после ночного нападения жгут всегда. Потом баб и детей уведут в Плесков, и это не зверство, а обычай: за ночную измену берут людьми.

Он оглядел овин.

— А боги наши будут стоять на горе целые и смотреть на пустое место.

— Так что же, отдать? — сказал Тур.

— Отдать.

Овин зашумел. Константин поднял руку и подождал.

— Слушайте. Я скажу, как думаю, а решаете вы, вы круг.

Говорил он недолго.

Дерево можно вырезать заново. Дуб в обхват валится за четверть часа, а растёт двести лет, но капище не в дереве: капище в том, что семь родов сходятся на одно место и говорят одно и то же. Пока сходятся — оно есть, хоть на голом камне.

А людей заново не вырежешь.

Значит, сегодня встать и смотреть, и это будет очень тяжело, и это надо выдержать. Потом дожить до весны. Весной поглядеть, что осталось.

— А ежели они и весной придут? — спросил кто-то из темноты.

— Придут.

— И опять отдавать?

— И опять.

— А докуда?

Константин подумал.

— Пока есть что отдавать, — сказал он. — А кончится — тогда и будем драться, и тогда это уже не глупость будет.

Тур сидел у стены, обхватив колени.

— Я согласен, — сказал он. — Только ты знай: мне противно.

— Знаю.

— Я не спорю. Я согласен и всё равно противно.

Он больше ничего не сказал за весь вечер.

Круг решил двадцатью двумя голосами против одного.

Против был Ставр.

Он не спорил и не убеждал. Когда дошла очередь, сказал:

— Не надо.

— Почему не надо-то? — не понял Гостята. — Ты же сам всегда: живых береги...

— Потому что человек, который раз посмотрел, как жгут его богов, и не двинулся, — сказал волхв в пол, — второй раз посмотрит, как жгут соседа. А третий сам поднесёт огня.

Он сел.

— Вы правы, — сказал он. — Я знаю, что вы правы. Я

смотреть не хочу, вот и всё.

* * *

Жгли на закате.

Их не рубили — валили верёвками: рубить дуб в обхват долго, а верёвкой можно за четверть часа, если подкопать, зацепить и налечь вдесятером. Первым лёг Дажьбог. Он упал лицом вниз, от удара отломилась протянутая рука с чашей, и эту руку кто-то из княжьих подобрал себе на растопку.

Смотреть согнали всех: это входило в порядок.

Константин стоял в первом ряду, потому что его туда поставили, и держал за плечи Элину, потому что она рвалась. Слёз у неё не было. Было лицо, какого не должно быть у ребёнка, — не плачущее, а напоминающее.

Юлия стояла слева и не отрывала глаз от огня.

Валерий стоял справа, белый и тихий, и Константин, не глядя, положил ладонь ему на грудь — не обнять, а придержать, — и чувствовал под рукой, как у сына колотится сердце, быстро-быстро, как у пойманной птицы.

Лёва стоял позади всех.

Перуна оставили напоследок.

Он был самый большой и самый старый, и огонь в него пошёл не сразу: старое дерево, пропитанное дымом семи поколений, горит неохотно. Его обложили соломой, полили смолой из бочонка, и когда занялось, солома пыхнула сразу, а Перун ещё долго стоял чёрный внутри рыжего.

Потом у него треснула голова.

Звук был громкий и сухой, как будто лопнуло что-то натянутое. Трещина прошла ото лба к бороде, в неё ударило пламя изнутри, и стало видно, что глаза у идола не резные, а вставные: два куска речного янтаря, вбитые ещё при прадеде.

Янтарь потёк.

Он потёк по чёрному лицу двумя густыми жёлтыми полосами, медленно, тяжело, до самой земли, и по толпе прошёл звук, которого Константин прежде не слышал: не крик и не плач, а стон, будто у двух сотен человек разом вынули что-то из груди.

— Гляди! — заорал кто-то из княжьих, весело. — Плачет! Плачет ваш бог!

Никифор на огонь не смотрел. Он стоял в стороне, спиной к капищу, лицом к деревне, и губы у него шевелились.

Константин выдержал.

Он стоял, держал дочь за плечи, и внутри у него шло ровное, почти спокойное перечисление, которым он держался весь этот час.

Триста человек. Восемьдесят коней. Одиннадцать дней до Плескова. Зима через месяц.

Мы стоим. Мы смотрим. Завтра они уйдут. К весне поставим новых.

Он додержался бы и дольше.

Сорвалось из-за пустяка.

Дружинник — молодой, безбородый, лет девятнадцати, из тех, кому дали копьё три месяца назад и от этого он стал считать себя другой породой, — шёл вдоль строя согнанных и высматривал. Он высмотрел у Элины на шее оберег: маленькое медное колёсико о шести спицах на ремешке, громовое колесо, которое ей отлил Горазд на седьмую зиму.

Он протянул руку и рванул.

Ремешок был крепкий. Он не порвался, а врезался девочке в шею, её дёрнуло вперёд, она упала на колени, а он потащил её по земле, смеясь и не понимая, что делает что-то не то.

* * *

Дальше Константин не думал.

Там не было мыслей. Там было чёрное, узкое, длинное,

как коридор, и в конце коридора был затылок парня в кожаном шлеме.

В руках у него не было ни топора, ни ножа. В руках у него был лемех: он нёс его от Горазда домой, наваренный, ещё не остывший до конца, и так и держал под мышкой всё это время, потому что руки надо чем-то занять, когда жгут твоих богов.

Он ударил лемехом. Плашмя, снизу вверх, в основание шлема, всей тяжестью плеча — тем движением, которым тридцать лет разваливал слежавшийся пласт.

Хруста он не услышал. Услышал только, как звякнуло железо о железо.

Парень не вскрикнул. Он сложился, будто из него вынули палку, и лёг лицом в стерню, и медное колёсико выпало из его разжавшейся руки.

Стало очень тихо.

Триста человек с оружием. Двести безоружных. Один мёртвый мальчишка на земле, один земледelec с лемехом в руках, и на лемехе тёмное, стекающее к острию.

И в эту тишину, длиной в один вдох, Константин успел подумать одно, и подумал он не про княжьего сына и не про себя.

Всё, что я раскладывал девять дней, кончилось.

Он девять дней искал цену, которую можно заплатить. И заплатил её за четверть вдоха, не торгуясь, и заплатил не тем, что собирался отдать.

— Ну вот, — сказал Хват сверху, с седла, и в голосе его была скука. — А так хорошо разговаривали.

* * *

Дальше был крик и то, что вспоминалось потом кусками, без связи.

Гостята, бросившийся вперёд с голыми руками, — старик семидесяти двух лет, а прошёл с копьём в груди ещё четыре шага, прежде чем сесть.

Горазд, схвативший конного за ногу и стащивший его на землю.

Валерий, орущий без слов и бьющий кулаками.

Ставр, который не двинулся с места, а поднял руки и стал говорить, и от его голоса кони княжьих попятились и замотали головами, и это дало людям те несколько мгновений, за которые они успели побежать.

Юлия, тащившая Элину за шиворот, как кошка тащит котёнка.

Дым.

Первая горящая кровля — не капище, а живая изба с горшками и колыбелью, и от того, как быстро занялась солома, стало ясно, что деревня деревянная и что деревня — это очень легко.

Константин не бежал.

Он стоял посреди всего и делал единственное, что умел делать со своей силой: бил. Лемех оказался страшной вещью — тяжёлой, широкой, с крутым краем. Он свалил второго. Свалил третьего. Кто-то рубанул его сзади по спине, и кольчуги на нём не было, а был овчинный кожух в три пальца, и меч застрял в овчине, и Константин развернулся и ударил не глядя.

Потом его схватили за плечи и потащили, и он вырывался, и это был Валерий.

— Мама! Батя! Мама там! Батя, мама там!

Ушли шестьдесят четыре человека.

Из двухсот десяти, что жили в Белых Ключах, ушли в пушу шестьдесят четыре: тридцать один взрослый мужчина, двадцать две женщины, одиннадцать детей. Остальные легли или остались.

Оставшихся не тронули. Их окрестили в Полисти через два дня, всех разом, загнав в воду по пояс, и Никифор читал над ними, и половина плакала, а половина стояла и смотрела на воду.

Про то, чтобы уйти, никто из них не думал и думать не мог. Уйти в лес в конце листопада, без припаса, с детьми — верная смерть, и они это знали не хуже ушедших.

Ушли те, у кого не осталось выбора: у кого убили своих на месте и кто уже поднял руку, и кому поэтому оставалось либо в лес, либо на верёвку.

Пуша приняла беглецов молча.

Она не была им рада. Она никогда никому не была рада. Но она была, и в ней было темно, и за третьей верстой князьи не пошли — не из страха, а из расчёта: гнать конных в бурелом за шестью десятками мужиков не окупалось.

Ночевали в овраге, без огня.

Юлия перевязывала. Ниток и ткани у неё не осталось, и она рвала на полосы собственную рубаху.

— Держи. Не дёргай. Ещё раз дёрнешь — оставлю как есть.

Элина сидела рядом, держала в кулаке медное колёсико, которое подобрала с земли, и не выпускала его ни в ту ночь, ни потом.

Константин не спал.

Он сидел на краю оврага, спиной к людям, и смотрел, как над северным краем неба стоит розовое.

Внизу кашляли. Кашляли трое или четверо, вразнобой, тем сухим лающим кашлем, который к утру делается мокрым, а через неделю кладёт человека. Где-то у дальнего края тихо, безнадёжно, не переставая плакала баба, и её не унимали, потому что унимать было нечем.

Шестьдесят четыре человека. Одиннадцать детей, двадцать две бабы. Мужиков тридцать один, четверо ранены. Восемь топоров, три ножа, одна рогатина. Еды на двое суток. Зима через месяц.

Складывалось одно: все умрут до марта.

Он посидел с этим ответом, повертел его и вдруг понял,

что ответ неправильный, — не потому, что не хочет верить, а потому, что он примерял к ним старую мерку, будто они по-прежнему деревня.

Деревне нужно двести десять душ, двадцать два двора, поля, скотина и запас. Деревня привязана к месту и не может его бросить, и оттого у деревни всегда один вопрос: как дожить до урожая.

У них не было ни места, ни полей, ни скотины.

Значит, и вопрос другой. Не «как дожить до урожая», а «как дожить до весны, ничего не сея», а это иной счёт, и в нём главное не зерно, а тепло, вода и то, чтобы люди не разбредись.

* * *

Он повернулся и посмотрел на овраг.

Шестьдесят четыре человека лежали вповалку на еловом лапнике, и кто-то плакал, и кто-то уже спал, потому что усталость сильнее горя.

Землянки. Три, по три сажени, вход от воды, копать завтра же, пока земля идёт. Он знал, где копать: тридцать лет рыл ямы под зерно и знал, где сухо, где грунт держит, а где по весне зальёт.

Вода. Ручей есть, но ниже по оврагу, а надо выше, чтоб не в стоке.

Еда. У Кривой Сосны, в двух днях пути, закопана резервная яма — они с Гораздом клали её позапрошлой осенью на случай мора и не вскрывали ни разу. Четыре мешка. Об этом не знал никто, кроме него, а Горазда уже не было.

Дрова. Валежник, сухостой, и рубить ночью, чтоб стука не слышали.

Он додумал до соли и до того, чем шить, и только тогда заметил, что у него отпустило в груди.

Ему не стало легче оттого, что он придумал, как выжить. Ему стало легче оттого, что появилась работа.

Лёва вернулся перед светом.

Никто не заметил, как он ушёл. Он появился из темноты — четырнадцатилетний, тонкий, с исцарапанным лицом — и молча сел к остальным. В руках у него был свёрток.

— Ты где был?

— Там сова кричала, — сказал Лёва. — Два раза. У нас сова над баней сидела, помнишь?

— Лёва.

Он развернул тряпку.

Внутри лежал обугленный кусок дерева величиной с ладонь. Чёрный снаружи, коричневый на сколе. И в нём, вплавленный, застывший неровной каплей, желтел кусок янтаря.

Правый глаз Перуна.

— Он горячий был, — сказал Лёва. — Я нёс и перекладывал.

Ставр протянул руку и взял. Повертел, поднёс к един-

ственному глазу, понюхал сажу.

— Ишь ты.

Он вернул деревяшку мальчику.

— Не умерли они, — сказал волхв. — Уснули. Разница в том, что мёртвых зовут напрасно.

— А спящих? — спросила Элина из темноты.

— А спящих будят, — сказал Ставр. — Только ты, девка, не лезь. Мала ещё.

* * *

Константин смотрел на своих.

На жену с разорванной рубахой и руками по локоть в чужой крови. На старшего сына, который в шестнадцать лет узнал, как звучит горящая изба, где он родился. На среднего, который ходил в огонь за глазом идола. На дочь с кулаком, прижатым к груди.

На тридцать мужиков, у которых на всех восемь топоров, три ножа, одна рогатина и ни одной кольчуги.

И на свои чёрные крестьянские руки, в которых он всю жизнь держал соху, а нынче с полудня держал лемех.

Он думал не о мести.

Он думал, что если дожить до весны, то будет тридцать один мужик, привыкший к лесу. Что если они не разбредутся, то станет больше, потому что жечь будут не только их.

Что если будет еда, то к ним придут.

Что из шестидесяти четырёх можно сделать то, чего нельзя сделать из двухсот десяти.

Небо над оврагом было розовое.

— Надо ведро, — сказал он. — И лопаты. Сколько у нас лопат?

— Две, — сказал Тур.

— Значит, две.

Интерлюдия первая АЛЬДЕЙГЬЯ

*Плуг кормит одну семью.
Корабль кормит целый народ.*



Четырнадцатью годами ранее. Ладога

В тот год Константину было семнадцать, и отец впервые взял его вниз по реке.

Они шли с двумя лодьями: рожь, воск, мёд в липовых ка-
дах и сорок связок беличьих шкурок, добытых зимой всей
волостью. Отец, Радим, был не купец, а мужик, который раз
в три года ходил торговать сам, потому что не любил, когда
за него торгуются другие. Он говорил: «Посредник берёт не
куницами. Он берёт тем, что ты потом не знаешь настоящей
цены».

Ладогу словене звали Ладогой, а свеи и урмане — Аль-
дейгьей, и оба имени были правильные, потому что это был
не один город, а два, слепленных на одном берегу.

Константин никогда не видел столько людей сразу.

Пахло смолой, рыбой, дублёной кожей, горелым жиром
и ещё чем-то незнакомым — острым, сладковатым, от чего
щекотало в носу. Позже он узнал, что это перец, который
везли с юга и который стоил дороже серебра по весу. По на-
стилам катали бочки. У воды, на козлах, лежала килем вверх
огромная лодья, и десять человек с теслами обтёсывали её
днище, и стук стоял такой ровный, будто работала одна боль-
шая машина.

А у самой воды стояли корабли.

Вот их Константин не забыл никогда. Не купеческие пу-

затые кнорры, а длинные, низкие, с задранными носами и щитами по бортам. Они не стояли — они лежали на воде, как лежит уставшая щука: не двигаясь, но всем видом обещающая движение.

— Не глазей, — сказал отец, не оборачиваясь. — Глазешь — значит, деревня. С деревни берут вдвое.

* * *

Торговались три дня.

На третий вечер рожь была продана — по-хорошему, потому что в тот год выше по Волхову не уродило, и Радим взял за неё вдвое против обычного. Отец был доволен молчаливо, как всегда: не улыбался, просто стал разговорчивее на пять слов в час.

Они сидели у костра на пустыре за складами, где ночевали все, у кого не было денег на постой, и ели то же, что и дома, потому что покупать еду за деньги Радим считал излишеством, граничащим с грехом.

К их костру подошли трое.

Они не спросили разрешения — просто сели, как садятся к своему. Двое были обычные: широкие, бородатые, в кожаных куртках с нашитыми на грудь железными кольцами. Третий был другой.

Он был не самый большой из них и не самый страшный.

Он был жилистый и лёгкий, лет тридцати, с выбритыми над ушами полосами и заплетённой в две косицы бородой. Одежда на нём была хорошая, но замызганная, и он этого явно не замечал. А глаза у него были такие, что Константин отвёл свои и потом злился на себя за это. Не злые глаза. Любопытные. Так смотрит человек, который ещё не решил, что перед ним — товар, помеха или собеседник, и которому одинаково интересны все три ответа.

— Хлеб, — сказал он по-славянски, с сильным ломающим выговором, кивнув на кострище, где в золе пеклись лепёшки. — Твой?

— Мой, — сказал Радим.

— Даёшь?

— Даю.

Он взял, обжёгся, перекинул из ладони в ладонь, откусил и стал жевать, глядя в огонь.

— Хорошо, — сказал он. — У нас так не пекут. У нас сушат до камня, чтобы в море не гнил. — Он показал зубы. — Двадцать лет ем камень.

— Дальше по берегу продают печёный, — сказал Радим.

— Знаю. Купить — не то. — Урманин слизнул с пальца золу. — Купленный хлеб — просто еда. Который дали — это уже разговор.

Он повернулся к Константину.

— Ты сын?

— Сын.

— Как звать?

— Константин.

Урманин перестал жевать.

— Это не ваше имя, — сказал он. — Это имя грека. Я знаю. Я был у греков.

— Мать была гречанка, — сказал Константин.

— Пленная?

— Купленная. Дед привёз с Понта. — Он не любил этого разговора, но врать было нельзя, и он добавил, чтобы закрыть тему: — Она умерла, когда мне было три.

Урманин помолчал, кивнул своим мыслям и вдруг ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Рагнар, — сказал он.

Один из бородатых за его спиной добавил что-то на своём языке, длинное, и оба заржали.

— Он говорит: скажи им целиком, — перевёл Рагнар без всякого смущения. — Целиком долго. Рагнар, сын Сигурда. Кожаные Штаны меня зовут за одну глупость в юности, про которую я рассказываю только пьяный, и сегодня я трезвый, так что не надейся.

* * *

Они просидели у костра полночи.

Он так и не понял, почему конунг с четырьмя корабля-

ми просидел полночи у мужицкого костра, и додумался до простого: потому что ему было скучно. Люди вроде Рагнара умирают не от меча — они умирают от скуки, и всю жизнь бегают от неё, как от собаки.

Рагнар спрашивал. Он спрашивал обо всём подряд, и это были странные вопросы, не те, что задал бы воин.

Сколько зерна берёт с поля один человек за день жатвы? А если серп плохой? Сколько дворов кормит одна речная пойма? Правда ли, что у славян в ямах зерно лежит по три года и не гниёт? Как выкапывают яму — обжигают стенки или обмазывают? А зимой не отсыревает?

Радим отвечал коротко и с растущим подозрением.

— Тебе зачем? — не выдержал он наконец. — Хочешь узнать, где у нас житницы, чтобы прийти на будущий год?

Рагнар посмотрел на него и вдруг перестал улыбаться.

— Слушай, старик. Я тридцать лет беру чужое.

— Это видно.

— Видно. — Рагнар не обиделся. — И я знаю одну вещь, которой мои люди не знают. Взять легко. Пришли, взяли, ушли.

— А потом?

— А потом через год пришли опять, а брать нечего. Земля пустая. Люди ушли или сдохли.

Он показал в темноту, туда, где на воде лежали корабли.

— И надо дальше. И ещё дальше. И ещё дальше. И однажды приходишь так далеко, что море кончилось, а ты старый.

Он поднял с земли уголёк и стал катать его между пальцев, не чувствуя жара.

— Тот, кто грабит, — гость. Он приходит и уходит. А тот, кто сеет, — хозяин. Он остаётся. — Рагнар швырнул уголёк обратно в костёр. — Я хочу знать, как остаются. Я старею, славянин. Мне нужна земля, где родится хлеб, и люди, которые умеют его растить. Иначе после меня останется только песня, а песню нельзя есть.

Радим молчал.

— Плуг кормит одну семью, — сказал он наконец. Это была старая поговорка на пристани, и говорили её обычно с насмешкой.

— Плуг кормит одну семью, — согласился Рагнар. — Корабль кормит целый народ. Год. Может, два. — Он поднял палец. — А плуг кормит одну семью тысячу лет. Сложи. Что больше?

* * *

Под утро, когда бородатые уже спали, Рагнар вдруг спросил Константина:

— Ты будешь пахать?

— Буду.

— Всю жизнь?

— Всю.

— Почему?

Константин подумал.

— Потому что я это умею, — сказал он. — И потому что если я не буду, то будут есть меньше.

Рагнар посмотрел на него долго, без насмешки.

Потом снял с левого запястья браслет.

Это был плохой браслет. Не серебряный — простая витая бронза, чёрная от времени, с расплюснутыми концами, на которых были выбиты две неровные птицы. Он стоил, наверное, полкуницы.

— Держи.

— Зачем?

— Потому что ты сказал правду, а правду говорят редко, и за это надо платить, а то отвыкнут. — Рагнар бросил браслет ему на колени. — И ещё потому, что я жадный. Хороший браслет я бы не дал.

Константин взял. Бронза была холодная и тяжелее, чем казалась.

— Слушай, что я тебе скажу, — сказал Рагнар. — Я говорю это редко и не всем. — Он наклонился ближе, и от него пахло дымом и рыбой. — Однажды придут и к тебе. Не я — другие. Всегда приходят. И вот тогда ты вспомнишь эту ночь и подумаешь: надо было тогда бросить плуг и идти в море.

— И что?

— А ничего. — Урманин выпрямился. — Не бросай. Земля кормит человека всю жизнь, а потом человек кормит зем-

лю — и это честно, это круг. Просто знай одну вещь.

Он поднял с земли лепёшку — последнюю, остывшую, — и разломил её надвое.

— Пока тебе есть что защищать — ты пахарь с топором, и таких боятся, потому что вас много и вам некуда бежать. А если однажды защищать станет нечего... — Он сжал ладонь, и лепёшка раскрошилась, и крошки посыпались сквозь пальцы. — Тогда ты станешь как я. Тогда приходи. Спроси на любой пристани от Хедебю до Бирки, где Рагнар, — тебе укажут. Или скажут, что я умер. Одно из двух, и второе вернее.

Он встал, потянулся так, что хрустнули плечи, и пошёл к кораблям.

На полпути обернулся.

— Константин! — крикнул он. — Имя у тебя чужое, а лицо своё. Смотри, чтобы не наоборот!

И ушёл в туман, и Константин четырнадцать лет вспоминал об этой ночи от силы дважды в год.

А браслет носил не снимая.

Глава вторая

БАГРЯНЫЕ ВОДЫ

*Багрятые воды! Кипит перекат!
Никто из стоящих не ступит назад!
Вскипает река от железа и тел,
Здесь каждый нашёл свой последний удел.*

«Багрятые воды»



Первые одиннадцать дней ушли на то, чтобы не умереть.

Шестьдесят четыре человека сидели в овраге за третьей верстой, на еловом лапнике, без огня, и к утру второго дня у двоих детей начался жар. Огонь развели на третий день — в яме, под навесом из лапника, чтобы не видно было дыма. К вечеру Константин заставил всех копать.

Копали в глинистом склоне, на солнечной стороне, в трёх местах, там, где он показал.

Ему не поверили. Мужики стояли с лопатами и смотрели, и Тур сказал за всех:

— Мы тут неделю посидим и уйдём.

— Куда?

Тур не ответил.

— На восток нельзя, за Мстой чужие роды, не примут. На юг нельзя, там Плесков. На север уже жгли. За пушу можно, только за пушей ни одной веси на четыре дня пути, и придём мы туда в декабре без хлеба. — Константин воткнул лопату. — Тут зимуем. Копать сегодня, пока земля идёт.

— А если всё-таки уйдём?

— Тогда выкопаем зря.

* * *

Место он выбрал не наугад.

Тридцать лет он копал зерновые ямы и знал про эту рабо-

ту то, чего не знали даже мужики: мужик копает яму раз в пять лет, а он копал каждую осень и всякий раз смотрел, что вышло на другой год.

В низине нельзя: по весне зальёт. В чистом песке нельзя: обвалится. Суглинок с камешком держит стену без обшивки, если не крутить угол круче чем на пядь. Вход делать не к воде, а от воды, вниз по склону, иначе сток пойдёт внутрь.

Он выбрал три пятна на южном скате и оказался прав во всех трёх: те землянки простояли до весны, и в них не текло.

К четырнадцатому дню было готово три норы на двадцать человек каждая. К двадцатому — пять.

К этому времени их было уже не шестьдесят четыре.

Слух шёл по пуще быстрее конного. Приходили с Ольшан, с Кривца, с Вырицких выселок, с трёх лесных заимок, о которых Константин раньше и не слышал. Приходили по двое, по трое, целыми семьями, с детьми на закорках, налегке, потому что взять было нечего.

Хват шёл по волости с юга на север и объявлял: дань шестьдесят, идолов валить, смотреть выходят все. Где не спорили, там валил идолов и уезжал, и весь оставалась стоять. Где вышло как в Белых Ключах, оставалось пепелище.

Из семнадцати весей, которые он прошёл к тому дню, сгорели четыре. Оттуда и шли.

Порядок в лагере завела Юлия, и завела на третий день, без круга и без спросу.

Она вышла из землянки, оглядела сидящих и сказала:

— Бабы, ко мне. Мужики, слушайте сюда, я коротко.

Ей было тридцать. Её знали как жену большака и как ту, что принимает роды, и до этого дня она на людях говорила мало.

— Воду берём выше по ручью, у камня. Ниже камня — мыться и стирать. Кто перепутает, тот мне сам потом будет объяснять, почему у него понос.

— Юль, да у нас...

— Нужник копать у той сосны. Ниже по склону от ручья, не выше. Сегодня.

— Некогда нам...

— Копать сегодня, — сказала Юлия. — Я в Веретье видела, как от этого выносят по четверо в день. Ещё раз услышу «некогда» — сама выведу и покажу, где рыть.

Она обвела глазами овраг.

— Дальше. Кто кашляет — сюда, отдельно, в третью нору. Все, я сказала, а не только у кого сил нет. Кто с ранами — тоже отдельно, и не рядом с кашляющими.

— Почему не рядом-то? — спросил кто-то.

— Потому что я так сказала.

* * *

Константин слушал это со стороны и не вмешался.

Он потому и не вмешался, что сам бы про нужник не вспомнил — вспомнил бы через седмицу, когда началось бы.

Вечером он сказал ей:

— Ты у меня умная.

— Я у тебя невыспавшаяся, — сказала Юлия. — Достань мне тряпок. Каких хочешь, хоть с мёртвых снимай. У меня перевязывать нечем, я третий день рубахи рву.

* * *

С каждым новым человеком Константину делалось хуже, и он этого не говорил.

Каждого проходящего надо было обогреть, положить и накормить, и с первыми двумя выходило, а с третьим — нет. К восемнадцатому дню в овраге было девяносто три едока, а хлеба четыре мешка из ямы у Кривой Сосны да то, что принесли с собой. По горсти на человека в день этого хватало на двадцать два дня.

Лес кормил, и это выручило их той осенью больше всего.

Бажен с четырьмя мужиками ставил перемёты на Полисти, ниже переката, и брал щуку, налима и подъязка, а по ночам лучил с острогой, когда рыба шла на мелкое. В хороший день выходило пудов до двух. Рыбу вялили на жердях под навесом и коптили в ямах, потому что соли было мало.

Ходили и на зверя. Взяли двух лосей, оба раза загоном, по первому снегу; взяли кабана, четырёх коз и много птицы, потому что в ту осень тетерев шёл на ягоду и его брали петлями прямо у лагеря.

Бабы драли бересту, копали корень, собирали грибы и клюкву, и Юлия велела брать всё подряд, включая то, чем в деревне брезговали.

И всё-таки этого не хватало.

Лес кормит человека, а не деревню. Пять мужиков в пуще проживут на рыбе и петлях сколько угодно. Девяносто три человека выбьют зверя вокруг себя за месяц, а зимой рыба уйдёт на глубину, и останутся кора, репа и то, что запасли. Без хлеба зиму не стоят: хлеб — единственное, что кладут в яму осенью и достают в марте.

* * *

Он сказал об этом вслух один раз, ночью, Юлии.

— Я их всех уморю.

Она сучила нить на весу, из распущенной вязаной рука-

вицы, просто чтобы руки были заняты.

— Сколько дней?

— Двадцать два.

— А если по полгорсти?

— Сорок четыре. И к концу никто не встанет.

Юлия домотала, откусила нить и сказала:

— Значит, надо взять хлеба.

— Где?

— Там, где он есть.

Она легла и через минуту спала, а он сидел ещё час.

* * *

Хлеб был в двух местах, и оба были плохи.

Княжий обоз при войске, а войско при обозе, и подойти к нему с восемью топорами — то же, что подойти без топоров.

Второе — восточные волости: Кривец, Молодь, Липна и веси ниже по Полисти, за Кривым Бродом. Туда Хват ещё не дошёл. Там стояли целые деревни с целыми ямами, там убрали хлеб, и там жили люди, которые пока ничего не потеряли и оттого пока ничего не понимали.

Константин думал об этом четыре дня и всякий раз упирался в одно.

Если Хват перейдёт брод и объявит в Кривце то же, что объявлял везде, будет одно из двух. Согласятся — их ямы

уйдут в Плесков, и просить станет не у кого. Не согласятся — там будет второе Заречье, и просить станет не у кого тем более.

В обоих случаях в декабре девяносто три человека в овраге начнут умирать.

Значит, Хвата нельзя пускать за брод.

С другого конца выходило то же самое. За бродом жили около полутора тысяч человек в двадцати с чем-то весях. Это были не его люди, они его не знали и ничем ему не были обязаны. Но это были единственные люди на свете, которые пока не были ни сожжены, ни крещены.

* * *

Круг он собрал на двадцать второй день и говорил стоя.
— Надо драться.

Овраг зашумел. Он дал прошуметь и объяснил всё: и про хлеб, и про двадцать два дня, и про восточные волости, и про то, что будет, если Хват их пройдёт.

Слушали плохо. Не оттого, что не соглашались, а оттого, что половина из девяноста трёх пришла неделю назад и ещё не вылезла из своего горя, и им было всё равно, что случится в декабре.

Поднялся Тур.

— Нас семьдесят с чем-то. У него три сотни.

— Не три. Двести тринадцать.
Вот тут стали слушать.

* * *

Он объяснил и это, медленно, потому что это было главное.

Хват пришёл в Белые Ключи с тремя сотнями, но три сотни он по волости не таскает: он оставляет заставы. В Белых Ключах десяток. В Заречье полтора. У Веретья, на пристани, где лодьи, сорок, потому что лодьи дороже людей. По дорогам дозоры.

Эти числа Константин собирал три недели, у всех, кто приходил, и всех спрашивал одно: сколько видел, где стояли, при чём. Из всего этого выходило, что при воеводе остаётся от двухсот до двухсот двадцати.

— Двести тринадцать. Конных восемьдесят.

— Всё равно втрое, — сказал Тур.

— Втрое. На поле втрое. А я на поле и не собираюсь.

— А где собираешься?

— На броду.

Тур подумал.

— Утопят.

— Могут.

Кривой Брод он выбрал не как воин.

Он выбрал его как человек, который тридцать лет смотрел на воду.

Брод был единственным местом на сорок вёрст, где По-лист переходил конный: ниже река шла в яру, выше распол-залась болотом, а здесь, у изгиба, дно было каменистое, вода по грудь взрослому, ширина шагов восемьдесят. Тут ходили торговые и ходило зверьё. Тут Хват и должен был пройти, потому что обход занимал одиннадцать дней, а войско, ко-торое одиннадцать дней идёт в обход, теряет треть на дорогу и приходит голодным.

Он привёл их туда за три дня и три дня они смотрели на реку.

На своём берегу, там, где брод выходил из воды, был от-кос: не крутой, в полтора человеческих роста, глинистый, с наплывом дёрна поверху. По такому конь поднимается ша-гом, боком, осторожно.

— Тут они будут медленные, — сказал Константин. — Тут они будут вылезать по одному.

Он поставил людей не в поле и не на гребне, а на самом краю откоса, вплотную, так, чтобы у выходящего из воды не было ни двух шагов разгона, ни возможности развернуть ко-ня.

Расстановка была плохая с точки зрения всякого, кто хоть раз видел настоящий строй. Задние не могли помочь передним. Отойти было некуда. Крылья упирались: слева в яр, справа в топкое.

Он выбрал её именно за это и объяснил Туру честно.

— У меня семьдесят один человек, которые в строю не стояли ни разу. Через четверть часа половина захочет побегать, и это не трусость, это так устроено.

— И что?

— А бежать некуда. Слева яр, справа болото, сзади мы сами.

Тур посмотрел на откос, потом на реку.

— Это загон.

— Загон.

— Ты и меня туда ставишь.

— И себя.

* * *

Старицу он придумал на второй день.

Выше по течению, в трёхстах шагах, была старица — заросшая, мёртвая протока, отделённая от русла узкой глиняной перемычкой в две сажени. Она копилась двенадцать лет: каждую весну половодье её наливало и уходило, а она оставалась, тухлая, ржавая, в ряске, местами в две сажени глу-

биной.

Никому не приходило в голову считать, сколько в ней воды.

Он прикинул: длина протоки шагов двести с лишним, ширина пятнадцать, глубина в среднем сажень. Перекат ниже по течению — восемьдесят шагов в ширину, глубина по грудь. Если пустить всё это разом, вода на перекате поднимется на четверть аршина, может, чуть больше, и продержится вдовхот семь или восемь, пока не разойдётся по руслу.

Четверть аршина — это ничтожно мало.

И вот тут он подумал главное.

Всадник на четверть аршина не смотрит. Человек в седле меряет брод глазом, по берегу, по камням, и решает заранее: пройдем. А дальше ему не до воды.

А конь смотрит. Конь на броду идет по камню, нащупывая копытом, и меряет силу течения не головой, а телом. Он не думает и не решает. Когда струя вдруг делается тяжелее, а дно уходит из-под ноги, конь пугается, и никакой всадник этого не отменит, потому что это быстрее всадника.

* * *

На круге его не поняли.

— Ты реку отвести хочешь?! — Некрас аж подскочил. — Реку?! Да ты в уме? Мы что тебе, семьдесят человек, реку

ворочать будем? Нам до снега две седмицы, а мы будем...

— Не отвести.

— А что тогда?!

— Поднять. Чуть-чуть. И ровно тогда, когда они будут посередине.

Некрас открыл рот. Закрыл. Открыл опять.

— Так это ж... это ж как мельницу ставить.

— Вроде того.

— Так я мельницу ставил! — заорал Некрас. — Я с батей на Ловати ставил, у нас затвор был и лоток, я знаю, как воду держат! Что ж ты сразу не сказал?

* * *

Копали две ночи, при закрытых факелах, стоя по колено в холодной жиже.

Работа была мерзкая и тупая: срезать перемычку с той стороны, где старица, слой за слоем, оставляя нетронутой тонкую стенку у самого русла. Ошибиться было нельзя: прорвёт раньше срока — всё насмарку, а второй старицы взять негде.

Показывал Некрас. Он лазил в жиже с полуночи до света, орал на своих, дважды падал и дважды вылезал, и к утру третьего дня стенка стала толщиной в ладонь.

Константин сам пролез вдоль неё на четвереньках и про-

щупал всю, пядь за пядью, и в двух местах велел подсыпать обратно.

— Тонко.

— Да нормально там!

— Подсыпь.

* * *

Ночь перед боем он не спал и знал, что не будет.

Он обошёл всех. Это не было выдумкой и не было приёмом: он просто не мог лежать. Ходил от костра к костру, садился, спрашивал про ерунду — сыты ли, сухо ли, у кого сапог просит каши, — и шёл дальше. К третьему костру заметил, что при нём люди перестают трястись, и дальше делал это уже нарочно.

У четвёртого костра сидел Валерий с рогатиной на коленях и точил её ножом, хотя точить там было нечего.

— Батя.

— Ну.

— Батя, я если побегу, ты меня не... ты меня не бей при всех. Ты меня потом.

Константин сел рядом.

— Ты не побежишь.

— А если побегу?

— Ты стоять будешь третьим слева. Слева Тур, справа я.

От тебя никуда и не денешься.

Валерий подумал.

— Это ты нарочно.

— Нарочно.

* * *

Юлию он нашёл перед светом, у воды. Она сидела на камне, обхватив колени.

— Не спишь.

— Нет.

Он сел рядом.

— Я боюсь, — сказал Константин.

Он сказал это не жалуясь и не ища утешения, а как говорят вслух то, что надо произнести один раз, чтобы оно не мешало.

— Я всю ночь хожу и говорю людям, что всё сойдётся. А я не знаю. Я посчитал, и по счёту выходит, что можем. Только я всю жизнь зерно считал, а не это.

Юлия помолчала.

— Помнишь, как яровое пересевали? На третий год, когда вымокло.

— Помню.

— Ты тогда сказал, что поздним успеет. Все говорили, что не успеет.

— Успело.

— Могло и не успеть.

Она положила ладонь ему на затылок, коротко, как кладут ребёнку.

— Тут наверняка не бывает. Ни в поле, ни тут. Посчитал честно — делай как посчитал.

Она встала и отряхнула понёву.

— Я на той стороне оврага буду, с бабами. Носилки готовы, шесть штук. Вар кипит. Если кого понесут — несите ко мне, а не в землянку, я в землянке не вижу ничего.

— Юль.

— Что?

— Ничего.

* * *

Хват пришёл на рассвете, и Константин увидел, как это делают настоящие люди войны.

Их было двести с небольшим.

Но они шли молча. Двести человек шли и не разговаривали, и не гремели, и лошади у них не ржали; они вытекли из-за поворота реки серой длинной змеёй, встали, и от их строя пахло тем, чего в пуще не бывает, — порядком.

Константин стоял на откосе, смотрел, как они разворачиваются, и внутри у него всё осыпалось.

Он вдруг увидел свою затею со стороны.

Семьдесят один мужик с топорами и косами на глиняном скате. Тридцать человек с лопатами у старицы, которых он не видит и с которыми у него нет связи, кроме крика. И вся надежда — на четверть аршина воды, прикинутую на глаз, сидя на берегу.

«Это чушь, — подумал он совершенно отчётливо. — Я всё выдумал. Сейчас они пройдут брод, и всё».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.